

КУДА как славно ступить по траве, глядеть, как впереди, высунув острый розовый язык, несется верный Левко, и думать неторопливо, в такт шагам, думать бесконечно, насколько бесконечна эта лесная дорога. Все-таки хорошо он надумал, забыв о лондонских концертах, о противоречащих друг другу и ничего не понимающих в русских мелодиях критиках, — надумал уйти, скрыться, бежать сюда, в деревню милых Крейцеров.

Этот год застал Рахманинова врасплох. Письма друзей оста-

казалось, тот гудел, наполненный солнцем, гудел, как слышанные некогда Сергеем колокола Ростова-Великого. Почему-то вне всякой связи подумалось, что скоро ему двадцать семь, лермонтовский возраст, пора зрелости. Но где, где он, его желанный берег? И долго ль плыть, и плыть куда?..

Где-то неподалеку послышался говор мужиков и пронзительный, высокий голос женщин. Опушкой леса шли с покоса косари. Женщины шли чуть позади, белые платки до бровей, руки изрезаны осокой.

порой не зная сам, что любит. Поддразнивал: «худа, как палка, черна, как галка, девка Наталья, тебя мне жалко». Наташа смеялась. А он вдруг замолкал. Долго после этого ходил серьезный, боясь взглянуть на нее. В тот раз, когда она пела про бобра и он подтягивал ей глуховатым, долгим, чуть слышным голосом, он понял, что однажды она станет его женой.

Все должно входить в берега. Все — в берега: и жизнь, и музыка.

Он опустил на траву. Зем-

ля дышала горячо и влажно. Хотелось прилечь к ней, раствориться в ее травинках, кочках, лосиных следах. Сергей наклонился к ней ухом, долго слушал чуть различимый шорох, как будто хотел услышать, как глухо ворочается почва, переживая какие-то неизвестные ему события. Он знал, что никогда не изменит этой земле, так же, как никогда не поймет ее до конца. Не поймет, как не поняла Наташа нехитрую, казалось бы, песню про бобра.

«Не по-нашему, не по-нашему», — почти пропел Рахманинов. Пропел чуть ли не с радостью, чуть ли не с какой-то злорадной издевкой над собой. «Но я же русский, я же русский!» — хотел он крикнуть, заплакать, вымолить у этой хоперской глуши одноединственное признание.

«Я русский!» Вот, оказывается-

ся, о чем он должен был помнить в тот день, когда, откинув лакированную крышку «шредера», играл свою Первую симфонию.

И нет! Не «Речная «лилея» должна была звучать в Лондоне, а другое, родное, неизбежное.

Чудный день! Пройдут века — так же будет в вечном строе течь и искриться река и поля дышать на зное...

Вот и вспомнился мудрый тютчевский катрен. Как хорошо, что вспомнился именно сейчас, в этот обычный для всей вселенной и вдруг такой значительный для него — день прозрения.

Конечно, он уже много умеет: рассчитывает свою работу до минутной точности, каждый пассаж продуман до мельчайших подробностей. Но сейчас, неожиданно для себя он открыл в себе нечто более весомое, непреходящее.

Что ж, к вечеру он вернется в милый дом Крейцеров, как всегда будет спорить с Максом о том, что же полезнее — охота или ужение, а после, может, уступив просьбам Наташи и Лели, сыграет им что-нибудь легкое, вроде «Пантелея». И никто не узнает, что именно сегодня Рахманинов решил стать Рахманиновым.

Сергей встал, прошелся по траве, разминая затекшие ноги. За спиной, далеко-далеко, должно быть, верстах в пятинадцати, в хоперских чащах, протрубил охотничий рожок.

Новые звуки, новые фразы не давали покоя пальцам, привыкшим к клавиатуре. Они были осязаемы, просились на бумагу, звали за собой другие. В них, еще нестройно, в эклектическом беспорядке жило то, чем жил последние дни сам Рахманинов — и этот лес, и крик лоса ввечеру, и крестьянская песня, и строгие глаза Наташи.

Он понял: это его Второй концерт.

Улыбнулся. Радостно и тревожно почувствовал себя, зная, что делать, что писать, чем жить.

Стоял июль — липень, грозник, макушка лета. 1899 год.

Олег ШЕВЧЕНКО.

Новохоперский район.

Второй Концерт Рахманинова

лись без ответа. Рахманинов получил приглашение Лондонского филармонического общества к участию в концерте в «Зале королев». Вся зима стала преддверием этой поездки. От трудных часов за роялем болела спина, до крови трескались пальцы. Преддверие было вечностью, а Лондон показался мгновением.

Сейчас, в усадьбе Крейцеров, Сергей понял, что надо все начинать сначала. И хотя позади были и «Утес», и «Алеко», и романсы, и хоры, — он знал, что главное должно еще совершиться.

Должно... Но, боже мой, сумеет ли он перешагнуть через прежние неудачи, через все, что рождает апатию и неуверенность? Вчера, за завтраком, Леля Крейцер сказала ему:

— Сережа, каждый день я слышу в вашем кабинете Бетховена и Бетховена. Когда же будет Рахманинов?

Сергей промолчал вчера. Но сегодня ему надо ответить. Ответить самому себе. Рахманинову.

Он с силой стукнул по стволу суковатой дорожной палкой. Ветки качнулись.

Сергей оправил белую, подпоясанную черным ремешком рубашу, прислонился к стволу.

— Добрый день, чьи будете? — совсем по-деревенски окликнул их Рахманинов.

— Местные, барин, краснянские, — ответил малорослый парень. — А вы откуда?

— Да тоже вроде краснянский. У Крейцеров.

— Это вы наемни с барышней тут проходили, песню пели?

Рахманинов смутился. Ну, конечно же, они слышали, как Наташа пела их крестьянскую: Как во той во речке купался бобер, купался, купался, не выкупался.

Она пела серьезно, с тем скрытым от чужого слуха волнением, пела так, как поют по вечерам крестьянки, когда после жаркого дня соберутся на посиделки в какой-нибудь избе на краю села.

— Хорошо ль пела? — спросил Рахманинов и почему-то почувствовал внутри глубокий, мятный холодок.

— Хорошо-то хорошо, да не по-нашему, — храбро ответила плечистая девка в розовом сарафане. — По-нашему, оно жалче, протяжнее.

Сергей нахмурился, нехотя потрепал горячую темную шерсть Левко, медленно пошел дальше.

Он любил Наташу. Любил молча, незаметно для других,

